

Кн. Никита Лобанов-Ростовский

Михаил Мейлах, как и я, бывший зэк в отрочестве в оккупированной Советами Болгарии, — чудака, поэт, филолог, переводчик, специалист по романской филологии и, среди прочего, новейшей русской литературе.

Мы с моей первой женой Ниной познакомились с Мишей в 1989 г., спустя полтора года после его освобождения из пермского концлагеря. Там он несколько лет служил кочегаром, в результате чего его ладони всё еще несли следы угольной сажи. На улицу он иногда выходил в венецианском плаще и треуголке. На мой вопрос, почему он так маскируется, Миша ответил, что это позволяет ему избегать налетов хулиганов, которые считают его чудачком, и лучше с ним не связываться. Миша поразил нас своим свободным владением, в отличие от своих современников в Питере, английским и французским языками, а также знанием литературы и живописи. На почве этих общих интересов мы подружились. Мы даже живали в его прекрасной квартире на Марсовом поле в Питере, но, к сожалению, не удосужились навестить его на даче в Комарове.

Когда Мише было уже лет под пятьдесят, в доме у него появилась молодая спутница, которую граф Стенбок-Фермор называл настоящей русской красавицей. Она стала его супругой и матерью четырех их детей.

Интерес Миши к средневековым трубадурам Прованса проявился в его книге 1975 года, написанной в советские времена, затем в его фундаментальной книге *Жизнеописания трубадуров*, изданной в 1993 году. Нина, будучи француженкой, была очень впечатлена его эрудицией в этой редкостной теме. Доскональное знание французской культуры и языка позволило Мише преподавать эти предметы французам. Он начал свою новую французскую карьеру в Каенне, столице Французской Гвианы, где когда-то была французская каторга, на которой томился Дрейфус, по поводу чего его друг Владимир Буковский шутил: “Это тебе за то, что ты не досидел” (он имел в виду, что Миша вместе со всеми советскими политзаключенными был досрочно освобожден в начале перестройки). Но спустя три года,

защитив французскую докторскую диссертацию, он утвердился профессором в Страсбургском университете.

Когда Миша вышел во Франции на пенсию и собирался возвращаться в Петербург, я сказал ему то, что очень мало кому говорил в жизни: *Je vais vous manquer*, что значит: мне будет Вас не хватать.

Приводимый ниже текст составлен из различных неизданных интервью, данных мною в разное время — прежде всего для Музея истории Гулага, Михаилу Мейлаху и другим.

— Будучи потомственными аристократами, мы, по идеологии Ленина и Сталина, не подходили рабочему классу и подлежали истреблению. Лобановы-Ростовские принадлежат к династии Рюриковичей, царившей до смутных времен, то есть до Романовых. Дед мой по моей материнской линии Вырубовых был товарищем министра у князя Львова в Первом Временном правительстве. Он не эмигрировал, а, оставив семью в России, поехал в октябре 1918 вместе со Львовым в Соединенные Штаты просить о вмешательстве в гражданскую войну. Получив отказ от президента Вильсона, они поехали в Париж и обратились к президенту Пуанкаре, который им тоже отказал. На этом они застряли в Париже и поселились в парижской квартире князя Львова. Супруга Вырубова скончалась в тюрьме от тифа, а оставшаяся семья из семи человек, включая мою будущую мать, была выкуплена у Советов его невесткой за 100.000 марок (его брат женился на богатой немке). Другой мой дед, кн. Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, в 1919 году с большими трудностями эмигрировал со своей семьей в Софию через Румынию. Софию он избрал потому, что интересовался в жизни только двумя предметами — православием и музыкой. У него была скрипка Страдивари, на которой он играл. В Софийском соборе Александра Невского пел хор болгарской оперы, и лучшее богослужение было не в Париже, а в Софии.

Мои родители, получавшие образование в Англии, встретились в Париже, повенчались и уехали к семье моего отца в Болгарию. В 1935 году родился я. Вначале отец был английским журналистом, потом работал переводчиком в банке, затем, благодаря знакомству в теннис-клубе с итальянским послом, получил место бухгалтера на итальянской текстильной фабрике.

Во время войны Болгария была вынуждена стать союзницей Германии, но благодаря искусной политике болгарского царя Бориса III, принадлежавшего к влиятельной Саксен-Кобург-Готской династии, убежденного пацифиста, страна не принимала реального участия в войне. Царю также удалось уклониться от «окончательного решения еврейского вопроса» в своей стране, и он спас 50.000 своих евреев от уничтожения, обманув немцев: всех болгарских евреев, многие из которых принадлежали к старинным сефардским семьям, нашедшим здесь приют после изгнания из Испании в конце

XV века, Царь Борис дал приказ отправить якобы на общественные работы в дальние горные районы, чтобы уберечь их от нацистов. Болгария осталась почти единственной европейской страной, избежавший кошмара холокоста. Нечто подобное произошло только в Дании и в значительной мере — в румынских Черновцах по инициативе мэра города Траяна Поповича.

В конце войны мои родители, закончившие школы в Англии, были на стороне союзников. Они не желали принимать участия в отступлении немцев, к которым присоединились многие русские эмигранты, нашедшие затем прибежище в странах Европы. Наша семья осталась в Болгарии — они не знали о предательских ялтинских соглашениях, отдавших Болгарию СССР. С приходом Советской армии в Болгарии началась агрессивная советизация, и с нею повальные репрессии. Возникли термины «враг народа», «семья врага народа». И мы попали, что называется, из огня в полымя. Особенно опасным было положение отца. Он продолжал вести себя совершенно свободно, посещал приемы и в европейских посольствах, где его все знали, и в представительствах оккупационных армий. Попытки эмигрировать были отклонены властями. В результате в 1946 году родители решили бежать в соседнюю Грецию, чтобы оттуда переехать во Францию.

Сначала я даже не знал, что мы покидаем страну, в которой прошло моё детство. Мы выехали, как будто просто едем на экскурсию, с чемоданами, как туристы. И только приехав к подножью гор, отделяющих Болгарию от Греции, мы оставили, вернее, зарыли чемоданы в снег, переложив вещи в ранец. И лишь тогда отец объяснил, что мы стараемся бежать из страны. Потом отец и мать, и я, их сын — мне было тогда 11 лет — три дня шли по заснеженным горам с проводником, бывшим офицером болгарских пограничных войск. Проводника-грека, который должен был нас ждать с греческой стороны, не оказалось. И пришлось болгарину-проводнику проститься с нами на спуске с гор по направлению к Салоникам. Болгарские пограничники, патрулировавшие границу, заметили следы в снегу и его догнали. Он спрятался за упавшим деревом и отстреливался.

А мы в это время пробирались одни вдоль ручья по греческой территории. Отец решил побриться, потому что не хотел входить в греческий поселок небритым. Иначе он не мог, потому что был и оставался тем, кого в Англии называют джентльменом. Он брился каждый день, и для него было бы неуважением к самому себе — явиться небритым к мэру городка, куда мы шли. И на это ушли те роковые 20 минут, которые позволили болгарским пограничникам нас догнать и арестовать. Я не осуждаю отца, наверное, я бы сделал то же самое. Я бреюсь каждый день, мне не свойственно ходить без галстука — есть привычки, которые сильнее меня. И так же, наверное, было у моего отца. Но мы, конечно, испытывали злобу на того, кто нас подвел, кто получил деньги за наш переход и не доставил грека-проводника на границу. Это было важнее того, что отец брился.

Арест был, конечно, событием драматическим, но практически прошел спокойно — нас просто окружили пятеро военных с двумя собаками и при-

казали следовать за ними, молча провели нас до пограничного поста, а там нас погрузили в два джипа, отца отдельно, мать со мной, и отвезли в столицу, в военную тюрьму. Отца сразу же куда-то увели, меня оставили с матерью, раздели, обыскали и отняли все, кроме одежды. Сделали опись всего, что у нас было, и посадили нас вместе в одну «келью», на тюремном языке — в одну камеру. Темные стены, одна тусклая лампочка, наверное, 20 ватт, которая горела 24 часа, на полу набитый сеном тюфяк. Раз в месяц приходил парикмахер, чтобы брить головы заключенным. Я узнал, по случайности, что мой отец сидит тут же неподалёку от нас. А случайность заключалась в том, что наша с матерью камера была последней по коридору около окна. И однажды я услышал через окно напев — кто-то насвистывал английскую песню «It's a long way to Tipperary». И это мог быть только отец, потому что это была его любимая песенка времен Первой мировой войны. И я ответил тем же свистом — так мы узнали, что сидим в одной и той же тюрьме.

У нас были если не ежедневные, то через день допросы — однообразные, длились они час-два, вопросы, задавались всегда более или менее те же самые, а характер допросов зависел от следователя. Были следователи, которые казались нормальными людьми, и были другие, с лицами, как, скажем, у Берии — посмотришь, и ничего уже не надобно объяснять. Меня никогда не били, но ставили перед глазами сильную лампу, а иногда заставляли стоять, не прислоняясь, у стены, что в конце концов становилось страшно утомительным. Отца били сильно, особенно, по ногам, потому что были моменты, когда он уже не мог ходить. Таковы мои общие воспоминания от допросов.

Отсутствие нормальной еды было, конечно, вынести тяжело, потому что давали в этой военной тюрьме 300 граммов черного хлеба в день и миску похлебки, в которую нужно было и очищать желудок, и принимать из нее пищу, такую психологическую травму тоже было тяжело выносить. А главное, что на меня ужасно действовало, это вопли, крики людей, избиваемых ночью, после которых следовали расстрелы, которые были слышны несмотря на то, что во дворе заводили моторы грузовиков. И я все время думал — лишь бы не отец, потому что не было никаких причин, чтобы это был не он. Это очень-очень тяжелая психологическая нагрузка — слышать, как людей избивают, а потом расстреливают. Из-за всего этого, и из-за отсутствия пищи, я видимо заболел. Меня перевели, скажем, в некий переходный пункт. Как Ярославль всегда был остановкой на этапе в Сибирь, так и меня перевели «в полицейский участок номер пять», который продолжает существовать по сей день. Но тогда это был ещё турецкий караван-сарай, как обычно, с большим двором и «кельями». И там я очутился относительно в очень хорошем положении. Я сидел с вором-цыганом Аванто. В нашей «келье» не было остеклённого окна, прорубленное в стене отверстие защищали два металлических прута. Меня иногда вызывали чистить картошку или лук, а место, где я это делал, находилось под окном нашей кельи на втором эта-

же. Я брал луковицу, кидал ее вверх, и Аванто часто удавалось ее схватить. И таким образом мы почти каждые два дня могли съедать по пол-луковицы. Вся моя одежда протерлась, и тогда там, где я чистил картошку и лук, я украл мешок из-под картошки, это мешки на 50 килограммов, вырезал три дырки, две для глаз и посередине для рта, надел на себя и носил этот мешок вместо одежды. А однажды, когда я занимался чисткой картошки, наш знакомый Володя Макаров (его вели на допрос), меня узнал, несмотря на мою маскировку, мы переглянулись, никто ничего не сказал, а так как для него это был только допрос, а не арест, то когда он вышел, и наши знакомые узнали нашу участь.

Потом из-за плохого здоровья я оказался в центральной тюрьме, где сидят уже приговоренные, а они по правилам всех стран проживают за счет государства, питаются три раза в день. Тем не менее меня перевели не в больничное отделение, а просто в обычное. Меня не выпускали, по крайней мере, ещё 2–3 недели или больше, по той причине, что власти не знали, куда меня направить. Власти вошли в контакт с нашими знакомыми, но все отказывались меня принять. В конце концов меня забрала моя няня, жившая в одной комнате с мужем, бывшим офицером Белой армии, и двумя дочерьми. К счастью, через месяц их хозяйка предоставила им вторую комнату, куда я поселился с их дочерьми. Я целые дни проводил на улице, подрабатывал чисткой обуви и, как меня научил Аванто, собирал окурки на мостовой, сушил табак и продавал его на вес цыганам, бывало, что и подворовывал с торговых лотков. Так выживали...

А мама, тоже находившаяся в центральной тюрьме, вдруг появилась во дворе домика, где я стал жить — это была неожиданность. Я, конечно, страшно обрадовался. А потом появился и отец. Я точно не помню, что произошло в эти первые два-три дня, но другие наши знакомые, Егоровы, по закону подлежали уплотнению, и у них оказалась лишняя комната. И нас туда вселили, так что некоторое время мы все трое счастливо жили в одной комнате. А потом отец вдруг исчез. Сравнительно недавно я получил письмо от своего софийского соучника Платона Чумаченко, который мне написал: я слышал рассказ бакалейщика, который видел, что твоего отца схватили на улице и сунули в машину. Жаль, что он мне это написал спустя 40 лет.

Мама пыталась найти отца, ходила, писала заявления в милицию. Потом ее постоянно подпитывала та фальшивая информация, которую люди, вышедшие из тюрем (это было, скажем, раз в три месяца), приходили и говорили, что они были с отцом друзьями, что он жив и просит маму помочь им деньгами. И это продолжалось очень долго. У моей матери были иллюзии, что он в заключении в Советском Союзе. Так что она очень долго верила, что он жив.

В прошлом году я получил доступ к части архива болгарской госбезопасности, где есть детали допросов моих родителей и часть допросов моих. Отца уже с нами не было — мы говорим о времени с 49-го по 53-й год.

Болгары решили заставить мою мать стать стукачкой, обещая дать нам за это разрешение на выезд, потому что она постоянно подавала прошения, и ответы постоянно были негативными. И там есть документ от министра внутренних дел — инструкция, как завербовать мою мать с помощью шантажа. Там был план — уличить ее в торговле заграничными лекарствами. Общие знакомые попросили мать получить из Франции через посольство лекарство против рака, что она и сделала, и отдала им по себестоимости. Милиция «как-то это узнала» и подстроила, чтобы эти знакомые попросили дозу на сумму, которая не разрешалась в Болгарии по закону, и тогда — это тюрьма навсегда. И эта сделка при свидетелях и с распиской была проведена, и матери предложили: или работайте на нас, или вот наш закон, и вы неизбежно попадете в тюрьму — подумайте, что будет без вас с вашим сыном. И моя мать согласилась стать стукачкой.

Потом последовал ряд допросов, где ей говорят, что она стукачка неэффективная, она не докладывает, что им нужно, там же ее собственноручная самокритика с заверениями, что она исправится. В её деле есть толстая папка с ее допросами. Судя по документам, видно, власти особенно интересовались участием в Болгарии графа Игнатьева. Моя мать была к нему приставлена, чтобы доносить о том, что происходило в его семье.

Я не мог и подумать, что такой религиозный и добрый человек, как моя мать, могла бы этим заниматься. Но, слава Богу, я прочел инструкцию министра внутренних дел, по которой её завербовали, и понял, что выхода у нее не было. Она и на меня «доносила»: пошел гулять с приятелем, вернулся поздно — в общем, исключительно бытовые факты. Мне было ужасно ее жалко. И так обидно и горестно, что я не смог отплатить ей при её жизни за всю её доброту и преданность. Я со всеми в жизни расплатился. Всех, кто что-нибудь для меня сделал, я сумел отблагодарить и одарить, а вот мать — не успел.

Я уже упоминал, что после революции семья матери эмигрировала во Францию. Все французские послы и другие французские представители были нашими знакомыми и друзьями. Дед из Франции начал ходатайствовать помочь нам с мамой уехать из Болгарии. Он писал президенту Болгарии, но это не помогало. В конце концов, я думаю, были две причины, по которым нас выпустили. Одна — основная — у мамы был французский паспорт, я тоже туда был вписан. У нее был рак, и власти, наверное, знали, что этот рак фатальный. Вторая причина — более вероятная. Во французском посольстве в Болгарии служил заместителем посла известный впоследствии французский писатель родом из Польши — Ромен Гари. И брат моей матери, и Гари воевали с де Голлем и сблизились с ним. А тут произошла следующая история. Болгария купила на заводе Schneider во Франции два электровоза. Они были проданы по аккредитиву. Ромен Гари позвонил генералу, управляющему французской зоной в Вене, через которую эти электровозы должны были ехать в Софию, и сказал, что в аккредитиве есть ошибка — задержите, пожалуйста, эти электровозы до тех пор, пока

я снова с вами не свяжусь. Этот генерал знал, что Ромен Гари близок к де Голлю, и не посмел позвонить в Министерство иностранных дел в Париже, чтобы узнать, правда ли это. Через два-три дня представители болгарского Министерства иностранных дел пришли во французское посольство и спросили Гари: «Где же наши электровозы?» Он ответил: «А где визы на выезд пяти французских граждан, которые проживают в Болгарии?» И болгары поняли, в чем дело. Но для них было важнее получить электровозы, поэтому нам срочно объявили, что нам нужно выехать из Болгарии. Вот как случился наш выезд. Эта история была вполне в духе Ромена Гари, впоследствии ставшего дважды лауреатом Гонкуровской премии — вторую премию, чего не бывает, он получил, подшутив над Гонкуровским комитетом и выпустив новый роман под другим именем.

На основании открытых мной болгарских документов, дело отца состоит из одних протоколов допросов, нет ни обвинительного заключения, ни приговора суда, только маленькая заметка карандашом на клочке бумаги о том, что он скончался в лагере от болезни. Конечно, его расстреляли в лагере для иностранцев. Я узнал об этом, докопавшись до начальника этого лагеря, доживавшего в Стара Загора. В этом лагере расстреливали всех.

В 1958 г. я окончил в Оксфорде геологический факультет, работал по специальности добычи нефти, алмазов и металлов. Затем, 1964 г., я переключился на банковское дело. Но главным делом моей жизни стало коллекционирование художественных произведений, относящихся к русскому театральному искусству, шире — к русскому авангарду первой трети XX века. Выставки из этой коллекции проходят по всему миру, в том числе в России.